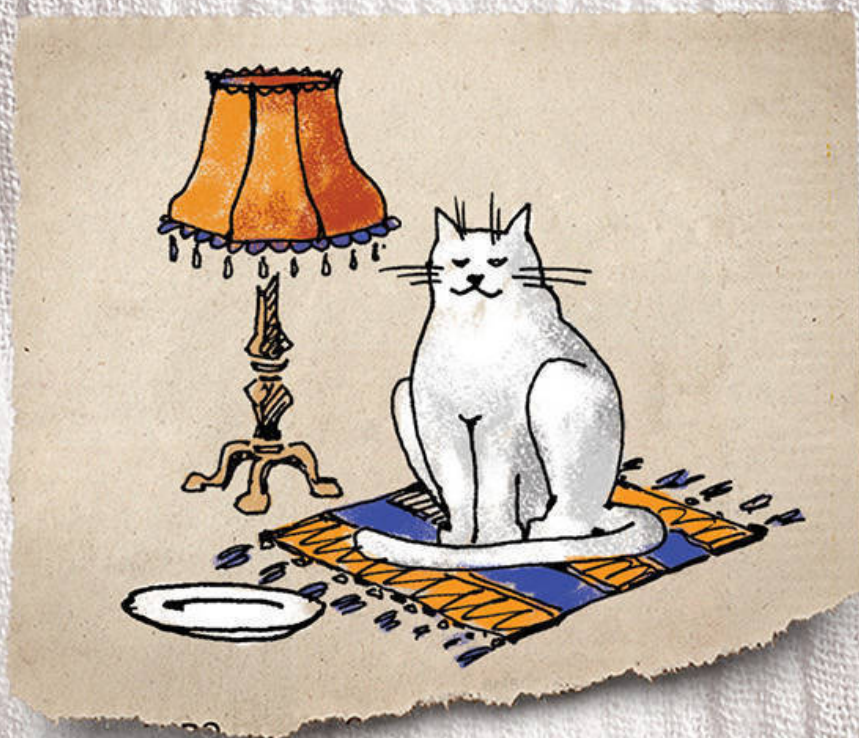


Мария  
Метлицкая



Наша  
маленькая жизнь



За чужими окнами

Мария Метлицкая

**Наша маленькая жизнь (сборник)**

«ЭКСМО»

2011

**Метлицкая М.**

Наша маленькая жизнь (сборник) / М. Метлицкая — «Эксмо»,  
2011 — (За чужими окнами)

ISBN 978-5-699-47717-3

Мария Метлицкая рассказывает о простых людях – они не летают в космос, не блистают на подмостках сцены, их не найдешь в списке Forbes. Поэтому их истории читаются на одном дыхании – они могли бы произойти с нами. Автор приподнимает занавес, за которым – чужая жизнь, но читателю все время хочется сказать: «Это я». Это я рыдала в аэропорту, провожая любимого и зная, что больше никогда его не увижу. Это я, встретив первую любовь, поняла, что не смогу второй раз войти в эту реку. Это я вдруг осознала, что молодость стремительно пролетела и вернуть ее невозможно. И каждый скажет: герои Метлицкой справились со всеми испытаниями судьбы. Значит, и я смогу, и я справлюсь.

ISBN 978-5-699-47717-3

© Метлицкая М., 2011

© Эксмо, 2011

## Содержание

Алик – прекрасный сын	5
Проще не бывает	21
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Мария Метлицкая

## Наша маленькая жизнь

### Алик – прекрасный сын

Соседей, как и родственников, не выбирают. Хотя нет, не так. С несимпатичными родственниками ты можешь позволить себе не общаться, а вот с соседями – хочешь не хочешь, а приходится, если только совсем дело не дойдет до откровенного конфликта. Но мы же интеллигентные люди. Или пытаемся ими быть. Или хотя бы казаться. Да еще есть такие соседи, от которых никуда не деться. В смысле, не спрятаться. Особенно если вы соседи по даче, участки по восемь соток и у вас один общий забор. В общем, секс для бедных.

Хозяин дома, Виктор Сергеевич, отставник, человек суровый и прямой, был категоричен и считал, что с соседями точно не подфартило. А вот его супруга Евгения Семеновна, женщина тихая и интеллигентная, учительница музыки, была более терпима и к тому же жалостлива, впрочем, как почти любая женщина.

Теперь о том, кого она жалела.

Соседская семья состояла из четырех человек: собственно хозяйка, глава семьи и рулевой Клара Борисовна Брудно, мать двоих детей и женщина практически разведенная, но об этом позже; двое ее детей – сын Алик и дочка Инка; и престарелая мать, Фаина. Без отчества. Просто Фаина.

Теперь подробности. Клара была женщиной своеобразной. Крупной. Яркой. Шумной. Все это мягко говоря. Если ближе к реалиям – то не просто крупной, а откровенной толстухой. Объемным было все – плечи, руки, грудь (о да-а!), бедра, ноги, живот. Все – с излишком. Яркой – да, это правда. Лицо ее было преувеличенно рельефным – большие, темные, навывкате глаза, густые брови, мощный, широкий нос и крупные, слегка вывернутые губы. Все это буйство и великолепие обрамляли выующиеся мелким бесом темные и пышные волосы, которые Клара закручивала в витиеватую и объемную башню. Дополнялось все это яркой бордовой помадой и тяжелыми «цыганскими» золотыми серьгами в ушах. Полные руки с коротко остриженными ногтями, на которых толстым и неровным слоем лежал облупившийся лак. Одевалась она тоже – будьте любезны: в жару тонкое нижнее трико по колено, розовый атласный лифчик, сшитый на заказ (такие объемы советская промышленность предпочитала не замечать), а поверх всего этого надевался длинный фартук с карманом. Если спереди вид был куда-никуда, то когда Клара поворачивалась задом... Картинка не для слабонервных.

Хозяйка она была еще та – к мытью посуды приступала, только когда заканчивалась последняя чистая тарелка или вилка. А обед она готовила так: в большую, литров шесть, кастрюлю опускала кости, купленные в кулинарии по двадцать пять копеек за кило. Это были даже не кости, а большие и страшные мослы, освобожденные от мяса почти до блеска. Они вываривались часа три-четыре, потом щедрой рукой Клара кидала в чан крупно наструганные брусочки картошки, свеклы, моркови и лука. В довершение в это гастрономическое извращение всыпалась любая крупа: гречка, пшено, рис – все, что оказывалось в данный момент под рукой. Этот кулинарный шедевр Клара называла обедом. Готовился он, естественно, на неделю. То же страшноватое варево предлагалось заодно и на ужин. Хлеб, правда, что на обед, что на ужин, резался щедро, крупными ломтями – батон белого и буханка черного.

По выходным (читай, праздник) делалась немыслимая по размеру яичница – праздник для детей, но и это нехитрое блюдо Клара умудрялась испортить, добавляя туда отварную картошку и вермишель. Хотя понять ее было можно – все постоянно хотели есть, особенно старая Фаина. Фаина эта вообще была штучка – крошечная, сухонькая, с тощей седой косицей, в

которую непременно вплеталась сеченная по краям мягкая атласная ленточка грязно-розового цвета, тоже выдавшая виды. Считалось, что Фаина занимается огородом – Клара ее называла Мичуриным. Действительно, она маячила на участке весь световой день – что-то перепалывала, рыхлила, пересаживала. Не росло ничего. Даже элементарный лук вырастить не получалось, не говоря об огурцах, редиске и прочем. Потом она додумалась удобрять свое хозяйство отходами человеческого организма, помешивая весь этот ужас длинной палкой в старой жестяной бочке. Но тут не выдержала даже спокойная Евгения Семеновна и попросила прекратить эти опыты. Примерно в час дня Фаина взывала к совести дочери и требовала обед.

Клара громко возмущалась:

– Такая тощая, а столько жрешь!

Фаина оправдывалась:

– hЯ же занимаюсь физическим трудом.

– Ха! – громогласно, участков эдак на пять, восклицала Клара. – А где результат твоего труда?

Домочадцев она называла иждивенцами, правда, о каждом говорила с разной интонацией. О Фаине – с легким презрением и пренебрежением, о сыне Алике – гневно и почти с ненавистью, а о дочке Инне – с легкой и нежной иронией.

Инну, довольно хорошенькую, молчаливую и туповатую кудрявую толстушку, Клара обожала, это была ее единственная и ярая страсть. На улицу, где шла вольная жизнь местных детей, девочка выходила молча, бочком, на велосипеде не каталась, в салки и казаки-разбойники не играла, тихо посапывая, сидела на бревне и жевала горбушки, распаханные по многочисленным карманам грязноватого сарафана. Брата ее Алика тоже всерьез особо не принимали – тощий, носатый, с вечными соплями, хлюпающий ханурик в сатиновых трусах. Ни толку от него, ни проку. Но его жалели, не гнали и, всегда неохотно вздыхая, брали в игру. Клару конечно же осуждали. Два родных ребенка – и такая разница в отношении! Допустим, бывают у матери любимчики, хотя это странно, но факт – бывают. Но чтобы одного ребенка так откровенно, не стесняясь, лелеять, а второго, мягко говоря, не замечать! Впрочем, все они там были с большими прибабахами.

– Иннуса! – сладким голосом кричала Клара, стоя на крыльце подбоченься.

– Чего? – не сразу откликнулась дочь.

– Иди, солнышко, кофе пить, – ворковала Клара.

Конечно, это был не кофе – кофе был им просто не по карману, – а какое-то пойло, дешевый напиток, но к нему полагались пряники или овсяное печенье, немыслимые лакомства, достававшиеся из глубоких и никому неизвестных Клариных тайников. Клара и дочка усаживались на веранде и начинали пировать. Фаина сидела на грядах и водила носом – ее на эти пиршества не приглашали, а Алика и подавно. Евгения Семеновна не выдерживала, подходила к общему забору и тихо выговаривала Кларе – за мать, за Алика. Клара не обижалась, а отвечала спокойно:

– Что вы, Евгения Семеновна, Фаине кофе вредно, спать ночью не будет. А этот малахольный и так по ночам ссытся – это в тринадцать-то лет! Ну их! – махала рукой Клара, облизывая крошки с толстых, накрашенных губ.

Евгения Семеновна качала головой и Клару осуждала:

– Ведь он тоже ваш сын, Клара, а как приемыш, ей-богу.

– Ох, – вздыхала Клара, закатывая глаза, – вы же знаете, Евгения Семеновна, Алику у меня от этого изверга (так обозначался первый Кларин муж). Такой же шаромыжник растет, как его отец. Ни тпру, ни ну. Нахлебалась я с ним – во! – Клара проводила рукой по горлу. – Ну, сами знаете, – деловито добавляла она. – Не жизнь была – пыточная камера. А Иннуса, – взгляд ее влажнел и останавливался, – знаете ведь, от любимого человека. И это большая разница! – Клара назидательно поднимала похожий на сардельку указательный палец.

– Бросьте, Клара, – сердилась Евгения Семеновна, – дети тут ни при чем. Сначала рожают от кого попало, а потом свои обиды и комплексы на них вымещают.

Клара тяжело вздыхала – соглашаться ей уже надоело, это было не в ее характере. Тогда она укоряла соседку.

– Вы, Евгения Семеновна, пе-да-гог, – произносила она по слогам. – У вас все по науке, а жизнь – это жизнь. – И, не выдерживая, начинала хамить: – Да и что вы в этом смыслите! Своих-то у вас нет! – И, развернувшись, чувствуя себя при этом победительницей и единственно правой, она с достоинством удалялась от забора, демонстрируя несвежее фиолетовое трико.

Евгения Семеновна расстраивалась, даже плакала – от обиды и хамства. Уходила в дом и переживала, долго, до вечера. Муж ее ругал:

– Куда ты лезешь! Дура ты, а не она! Нашла с кем связываться – с этой непробиваемой хамкой и торгашкой. Удивительно, – кипятился он, – ну, ничему тебя жизнь не учит. Сиди на участке и не лезь в чужие жизни.

– Мне ребенка жалко! – всхлипывая, оправдывалась Евгения Семеновна.

– Заведи себе кота, – резко бросал муж и хлопал дверью.

Прожив долгую жизнь, внутренне они так и не смирились со своей бездетностью. Дернул же черт Евгению Семеновну тогда, зимой 79-го, в страшный мороз и гололед, будучи на шестом месяце, отправиться с подругой в кино. Идти не хотелось, но, как всегда, было трудно отказаться. Упала она почти у подъезда – страшно ударилась затылком, так, что не спасла отлетевшая в сугроб песцовая шапка. Потеряла сознание, и сколько пролежала она на льду, одному Богу известно. У нее было сотрясение мозга, ночью начались боли и рвота. Ребенка она потеряла. Как следствие – сильнейший стресс, депрессия, жить тогда вообще не хотелось. Вылезала из этого годами, с невероятным трудом. Усугубляло еще и страшное чувство вины – перед младенцем, а главное, перед мужем. Забеременеть ей так больше и не удалось – сколько ни старалась, ни лечилась. Чувствовала, что муж ее так и не простил, хотя сказал всего одну фразу: «Эх, Женя, Женя...»

К сорока годам, поняв окончательно, что борьба бессмысленна, робко заговорила с мужем о возможности взять младенца в детском доме. Он тяжело посмотрел на нее и сказал:

– Нет, Женя, чужого не полюблю. – И добавил: – Раньше думать надо было.

Тогда она еще раз убедилась – не простил. Значит, не простит никогда. Жизнь была ей тягостна и порой невыносима – к чудовищной, неустанной боли прочно приклеилось чувство неизбывной вины. И каждый раз, глядя на небрежное Кларино материнство, она думала о все-ленской несправедливости – такой, как *эта*, Бог дал двоих, а ей – ни одного. За что, Господи, за один необдуманный шаг, даже не за проступок, – и такая кара, такая непосильная плата. Ах, какой бы она могла быть матерью!

Бездетные женщины обычно испытывают к чужим отпрыскам либо полное безразличие и неприятие, либо глубокую и тщательно скрываемую нежность и жалость.

Евгения Семеновна жалела неприкаянного Кларино сына Алика, переживая и яростную обиду, и тихую скорбь, и непреодолимое желание обогреть, накормить и просто обнять, прижать к своему изболевшемуся сердцу. Пару раз, в бессонницу, ей приходила в голову дикая мысль – забрать Алика у Клары. В том, что та легко откажется от него, Евгения Семеновна практически не сомневалась. Мысленно она выстраивала свои долгие монологи, переходящие в не менее долгие диалоги с Кларой. Монологи ей казались убедительными, основанными на убежденности в Кларином благоразумии. Аргументы были бесспорны: «Ты одна, бедствуешь, двоих тебе не поднять. Рвешься, бедная, бьешься. А мы – обеспеченные люди: прекрасная квартира в центре, машина, дача; да-да, конечно, у тебя тоже, но ты все же не ровный кирпичный дом с печкой и душем и твою, прости, Клара, развалюху. А образование? У Алика,

между прочим, прекрасный слух. Музыканта, конечно, из него не выйдет, поздновато, а так, для общего образования... И библиотека у нас прекрасная. И у него будет отдельная комната».

Словом, все «за». Евгения Семеновна представляла удивленное Кларино лицо. Скорее всего, она не согласится сразу, нет, конечно, Клара расчетлива и примитивно хитра. Наверняка сначала схамит – типа, в своем ли вы уме, Евгения Семеновна? А потом придет в себя, подумает, прикинет выгоду от этого предприятия и наверняка согласится.

На самый крайний случай у Евгении Семеновны имелся последний довод склонить соседку на сделку – старинная наследная брошь, даже не брошь, а какой-то орден, что ли, в общем, звезда, острые лучи которой были плотно усеяны разной величины бриллиантами, а в середине располагался довольно крупный кровавый рубин. Звезду эту перед смертью ей сунула тетушка, сестра матери, за которой Евгения Семеновна ходила последние три года перед ее смертью. От мужа она этот подарок утаила, и из-за этого тоже умудрялась страдать. Но сильнее оказалась постоянно точившая мысль, что в конце концов, по всей логике, он все же ее бросит, уйдет, заведет себе ребенка на стороне, непременно уйдет. А эта цапка – все же кусок хлеба на черный день, на одинокую старость. Вполне себе оправдание. Теперь она думала, что предложит Кларе эту самую звезду, та, конечно, не сможет отказаться – такое богатство! Инночкино приданое.

Но после этих изнуряющих монологов Евгения Семеновна понимала, что без мужниного слова начинать беседу с Кларой невозможно. Пыталась завлечь Алика в дом – не только из корыстных целей, а в первую очередь из жалости. Звала его, он заходил – боком, потупив взор: тощий, взъерошенный, грязный, нелепый. Она его сажала на кухне и кормила бутербродами с дефицитной сухой колбасой, щедро сыпала в вазочку шоколадные конфеты, и сердце ее сладко замирало, когда этот, в сущности, неприятный чужой ребенок, вытирая мокрый нос тыльной стороной грязной, с нестриженными ногтями, руки, жадно глотал куски, неловко разворачивал конфеты, нечаянно проливал чай, тихо говорил «спасибо» и пытался к двери.

– Алик! – кричала она ему вслед. – Завтра заходи непременно!

Еще больше смущаясь и мучительно краснея, он кивал, своим худым телом почти просачивался в узкую щель калитки – и убегал на свободу.

Она пыталась заводить разговор с мужем издалека, подобострастно спрашивая:

– Чудный мальчишка, правда?

Муж поднимал на нее глаза, несколько минут молча смотрел и, тяжело вздыхая, говорил:

– Займись чем-нибудь, Женя. Полезным трудом, что ли. Или иди почитай. – И, помолчав, добавлял: – Не приваживай его, Женя, это неправильно. Там семья и там своя жизнь. Это все не нашего ума дело. И не придумывай себе ничего. – Он резко вставал из-за стола и бросал ей: – А парень, кстати, действительно малахольный, эта дура Клара права. Дикий какой-то и грязный, – заключал он, брезгливо сморщившись.

Евгения Семеновна поняла, что ничего из ее затей не выйдет. Никогда, никогда муж не согласится взять Алика. И чутье ей подсказывало: «Даже не вздумай начинать с ним этот дурацкий разговор. Из дур потом до конца жизни не вылезешь». Муж был человек резкий и без церемоний. В общем, затею эту она оставила и думать об этом себе запретила – еще одна зарубка на сердце. Мало их, что ли? Подумаешь, еще одна. Оставалось только по-воровски, в отсутствие мужа, зазывать Алика на чай. И мысленно голубить его, стесняясь своих чувств, – дотронуться до него она не решалась.

А у соседей разгорались очередные страсти. Обычно за лето два-три раза наезжал бывший Кларин муж, отец Алика. Клара называла его хануриком. Он и вправду был ханурик – тощий, носатый, с тревожным взглядом бегающих глаз, с тонкими, какими-то острыми пальцами, теребящими угол рубашки или брючный ремень. Приезжал он скорее к Кларе, чем к Алику. Алик его тоже особенно не интересовал, а Клару он продолжал страстно обожать – и это было видно невооруженным глазом. От станции он шел быстро, вприпрыжку, задирая



ноги в растоптанных коричневых сандалиях. В правой руке держал выдавший виды дешевый дерматиновый портфель, а в левой торжественно нес картонную коробку с бисквитным тортом – Клара обожала сладкое. Ни о каком подарке сыну – ни о самой дешевой пластмассовой машинке, ни о паре клетчатых ковбоек, ни о новых брюках – речи не было, ему это и в голову не приходило. Ехал он повидаться с любовью всей своей жизни, коварно ему изменившей когда-то с его же начальником. Он долго маялся у калитки, не решаясь войти, и, покашливая от волнения, срывающимся на фальцет голосом жалобно вскрикивал: «Клара, Клара!»

Клара не слышала – она была в доме, варила обед. На участке копошилась Фаина, на крики бывшего зятя особо не реагируя. Спустя примерно полчаса она поднимала голову и спрашивала недоуменно:

– Чего орешь?

– Фаина Матвеевна, – жалобно просил он, – позовите, пожалуйста, Кларочку.

Фаина распрямлялась, не спеша терла затекшую спину, еще минут десять думала, а стоит ли вообще реагировать на просьбу этого товарища, и, повздыхав, медленно направлялась к дому позвать дочь. Клара возникала на крыльце – гордый вид, руки в боки.

– Ну, – кричала она с крыльца, – что приперся? Чего надо?

– Кларочка, можно зайти? – заискивал бывший муж и уже просовывал узкую ладонь в щель между штакетником, пытаясь скинуть ржавый металлический крючок, запиравший калитку изнутри.

Клара, в той же воинственной позе, подбоченясь, с ножом или поварешкой в руке, молча и неодобрительно смотрела на эти действия.

Жалко улыбаясь, отец Алика протискивался в калитку и шел по тропинке к дому, но вход туда перегораживала мощным телом любовь всей его жизни – Клара.

Ничего-ничего, главное – пустили, радовался он и присаживался на шаткой скамеечке у дома, ставил коробку с тортом, вынимал клетчатый платок и долго и тщательно вытирал им вспотевшее лицо.

– Жарко! – оправдывался он.

Клара молчала. Тогда, поняв в очередной раз, что здесь ему ничего не предложат, он жалобно просил принести ему водички. Так и говорил – «водички».

Клара слегка медлила, потом разворачивалась и уходила в дом за водой, а он вытягивался в струнку, трепеща, сладко замирал, с восторгом и страстью глядя на ее еще крепкие ноги и могучие ягодицы, грозно перекатывающиеся в фиолетовом трико.

Клара выносила воды в ковшике – еще чего, в чашке подавать. Он жадно пил, а она с ненавистью смотрела на его острый кадык.

– Ну! – повторяла она нетерпеливо.

Бывший муж мелко и торопливо кивал головой, приговаривая:

– Да-да, конечно, сейчас, сейчас, Кларочка. – И дрожащей рукой суетливо вытаскивал из кармана брюк мятый конверт. – Здесь все за четыре месяца, Кларочка, – суетился он.

Это были алименты на Алика.

Клара открывала конверт, пересчитывала деньги, результатом, видимо, довольна не была, но настроение у нее явно улучшалось.

– Чай будешь? – великодушно спрашивала она.

Бывший муж счастливо кивал – не гонит, не гонит, еще какое-то время он побудет возле нее! Они заходили в дом, и он подобострастно спрашивал:

– Как дети, как Инночка?

Не как Алик – родной сын, а как Инночка – материнское счастье, родившаяся от соперника. Знал, чем потрафить. И Клара извергала свой гневный монолог – денег не хватает, бьется, как рыба об лед, мать совсем в маразме, все постоянно просят жрать, рвут ее буквально на куски – поди подними двух детей!

– Алик – бестолочь! Такой же болван, как и ты! Малахольный, одним словом, – мстительно и с явным удовольствием сообщала Клара бывшему мужу. – Только бы мяч гонять целыми днями, ни толку от него, ни помощи! Инночка, – взгляд при этом у нее теплел, – конечно, прелесть, единственное утешение в жизни, только это сердце и греет. А так не жизнь, а ярмо и каторга.

Бывший муж усиленно кивал, поддакивал, пил пустой чай и опять вытирал носовым платком мокрое лицо. А Фаина тем временем на скамейке столовой ложкой жадно поедала оставленный бисквитный торт, щедро украшенный разноцветными маслянистыми кремовыми розами. У нее был свой праздник.

– Алика позвать? – напоминала бывшему мужу Клара.

Он оживленно кивал:

– Да-да, конечно. И Инночку тоже.

Клара выходила на крыльцо и раздавался ее зычный рык:

– Алик, Алик, иди домой, придурь небесная! – И сладко и нежно: – Иннуля, доченька, зайди на минутку!

Инна появлялась быстро – от дома она далеко не отходила. А вот Алик гонял где-то, счастливый, по поселку на чем-то велике, который великодушный хозяин предоставил ему на полчаса – из жалости и благородства.

Инна заходила и садилась на стул – молчком. Отец Алика расплывался в улыбке и гладил ее по волосам.

– Чудная девочка, чудная. Красавица какая! – восхищался он.

Довольная Клара деланно хмурилась и жестко бросала:

– Да уж, не твоя порода! Удалась.

С лица бывшего мужа сползала улыбка, и начинали дрожать губы, но отвечать Кларе он не решался. Силы были явно не равны.

– Ну, все, – объявляла Клара. – Некогда мне тут с тобой. Свидание окончено.

Он неловко и проворно вскакивал с табуретки, благодарил за чай, опять гладил Инну по голове и, суетливо прощаясь с Кларой, торопливо шел к калитке. Довольная Фаина провожала его сытыми глазами, затянутыми пленочками катаракты, понимая, что сейчас, когда грозная дочь увидит наполовину пустую коробку от торта, разгорится нешуточный скандал.

По центральной улице, называемой в народе просекой, смешно, прыгающей походкой шел к станции немолодой, тощий и лысоватый мужчина. Заметив стайку местных мальчишек, он, прищурясь, слегка всматривался – один, на стремительно отъезжающем велосипеде, тощий, голенастый и темноволосый, был похож на его сына Алика. Наверное, он, равнодушно отмечал про себя мужчина, но бросал взгляд на часы и не окликал мальчишку. Во-первых, торопился в Москву, а во-вторых, особенно было и неохота. В конце концов, приезжал он сюда не за этим. А то, за чем приезжал, он и так получил. Сполна. И был почти счастлив.

– Видали? – Клара висела на заборе, призывая Евгению Семеновну, сидевшую с тяпкой на грядке клубники, к разговору.

Евгения Семеновна поднимала голову, вставая, выпрямлялась. Она бывала почти рада короткой передышке – возиться в огороде не очень-то любила, просто муж очень любил клубнику.

– Видали? – грозно вопрошала Клара. – Шляется, черт малахольный, глаза б мои его не видели. Деньги привез – ха! Слезы, а не деньги!

– Ну, Клара, вы несправедливы, – откликнулась Евгения Семеновна. – По-моему, он человек порядочный, вы за ним не бегаете, да и потом, любит, видно, вас. Простил измену, зла не держит.

– Любит, – возмущенно повторяла Клара. – Еще бы не любил! А вот я его, Евгения Семеновна, терпеть не могла. Ну просто не выносила. Ночью от отвращения вздрагивала, когда он до меня дотрагивался. Лучше с жабой спать, ей-богу.

«Тоже мне, Брижит Бардо», – вздыхала про себя Евгения Семеновна.

– А зачем же вы, Клара, за него замуж вышли? Если он был вам так неприятен? – поинтересовалась она однажды.

– Из-за квартиры, – просто и бесхитростно ответила Клара. – Мы же с матерью жили на Пресне, в коммуналке, в семиметровой комнате. Еще девять семей. А тут хоромы – двухкомнатная, кухня, ванная. Он год за мной ходил, покоя не давал. А я ведь была хо-ро-шень-кая, – грустно вздохнув, по складам произнесла Клара, глядя куда-то вдаль.

Евгении Семеновне верилось в это с трудом. Но, словно желая подтвердить сказанное, Клара упорхнула в дом и тут же вернулась с целлофановым пакетом, полным фотографий.

«И вправду хорошенькая», – мысленно удивилась Евгения Семеновна. Молодую Клару она не знала – эту дачу они с мужем купили всего около десяти лет назад, когда Клара уже выглядела так, как сейчас. В молодости же она была похожа на крупную (ни в коем случае не громоздкую) и светлокожую мулатку – широкий нос, большие круглые карие глаза, пухлые яркие губы, короткие, выющиеся мелким бесом черные волосы.

Да, тяжеловата, пожалуй, для девушки, но талия имеется, высокая большая грудь, крепко сбитые, сильные ноги. Необычная внешность, яркая, на такую точно обратишь внимание, обернешься.

– Ну?! – нетерпеливо поинтересовалась мнением соседки Клара.

– Хорошенькая, – согласилась справедливая Евгения Семеновна. – Необычная такая.

– Вот именно! – подхватила Клара и грустно добавила: – А в любви никогда не везло.

Покопавшись в пакете, она извлекла на свет еще одно фото и сунула под нос Евгении Семеновне: широко и крепко расставив ноги, стоял солидный и, видимо, высокий мужчина в белой майке и широких брюках. Лицо у него было крупное, значительное, взгляд уверенный и вызывающий. Было видно, что на этой земле на ногах он стоит уверенно и прочно – в прямом и переносном смысле.

– Кто это? – спросила Евгения Семеновна. – Ваша первая любовь?

– Ну, первая – не первая, – усмехнулась Клара, – но главная – это точно. Инночкин отец, – спустя минуту добавила она, и глаза при этом у нее увлажнились.

Евгения Семеновна однажды краем уха слышала от Фаины эту историю, банальную донельзя: был нелюбимый, постылый муж, а тут такой орел светлоокий – его начальник. Сошлись, конечно, оба молодые, яркие, горячие, но у того – семья, дети. Правда, он Кларе ничего не обещал – так, увлекся яркой, темпераментной бабенкой. А она возьми да забеременей, да еще и рожать собралась. Он уговаривал избавиться – она ни в какую. Хочу, говорит, частицу тебя иметь. Если не тебя, то хотя бы плоть твою. Он разозлился и бросил ее, непорочную, – ни помощи, ни денег. А она в любовном угаре мужа выгнала – глаза, сказала, на тебя, постылого, не глядят. Лучше одной с двумя детьми, чем такая пытка – каждый день с тобой в постель ложиться и твое дыхание нюхать. Муж, вечный ее раб, из своей же квартиры покорно ушел – только чтобы не раздражать, не злить. Ушел к матери, в барак без удобств на Преображенке, в тайной надежде, что не справится одна с двумя детьми, просто не справится. И позовет. На любовь он давно не рассчитывал. Но гордая Клара не позвала. Страдала, рвалась на части: трехлетний Алик – сын от нелюбимого мужа, обожаемая дочка Инна – от любимого человека, бестолковая старуха-мать. Колотилась, как могла: до школы в детском саду нянечкой, там хоть ели сытно, потом в школьном буфете – уже не так вольготно, но что-то выносила, обливаясь от страха холодным потом. Подъезды мыла в соседнем доме – в своем стеснялась. Потом научилась вязать шапки и шарфы из ровницы – шаблонные, примитивные и бесхитростные, но шерсть была почти дармовая: соседка работала на прядильной фабрике. Нашелся

и сбыт – родня этой соседки жила в Рязани, товар забирала с удовольствием. В Москве это не шло, а на периферии, в селах – отлетало будь здоров. Деньги невеликие, но худо-бедно с этого как-то кормились. Работать Клара уже не могла – инвалидность второй группы, что-то со щитовидкой, эндокринка совсем никуда, плюс астма – проклятая шерсть.

Евгения Семеновна представляла, что это была за жизнь.

Образования у Клары не имелось, каких-то способностей, к примеру к шитью, – тоже. Хозяйка она была никакая – ни фантазии, ни вкуса.

В доме нелепо громоздилась старая мебель – неудобные, громоздкие шкафы с незакрывающимися дверцами, шаткие, колченогие стулья, выцветшие линялые занавески, кастрюли с черными проплешинами отбитой эмали. От бестолковой матери, кроме ее пенсии, помощи не было никакой. Оставить детей – кто-нибудь обязательно упадет, коленки разобьет, руку вывихнет. Дети, правда, нешебутные, но Алик нашкодить мог с удовольствием, тихо, исподтишка, а Инночка – точно ангел, сидела целый день, смотрела телевизор, не прекращая, жевала пряники. Правда, говорить начала после трех, а буквы и к школе никак не могла запомнить. Не хочет – и все. Неинтересно ей. Алик, тот книжки запоем читал и учился неплохо – тройка только по пению и физкультуре. А дочь – двойка на двойке, сидела за последней партой и молчала, в учебниках писателям носы и уши подрисовывала.

– Развивать ее надо, – сетовала с досадой молодая учительница.

А как развивать, если ей все неинтересно? В хоре петь Инночка не хотела, на танцы ее не взяли, в художественный кружок тоже – простой домик с крышей нарисовать не могла.

«Ничего, – успокаивала себя Клара, нежно глядя на спящую дочку. Сердце ее разрывалось от любви. – Ничего, зато хорошенькая, как куколка. Я тебя замуж удачно выдам, за приличного человека, не голодранца. Я тебе судьбу устрою, через себя перекинусь, а устрою. Только на тебя, моя красавица, одна надежда. Не на этого же малахольного, что с него возьмешь – одни убытки!» – И она кидала гневный взгляд в угол комнаты, где на раскладушке, выпростав худющую, в цыпках, голенастую ногу, с полуоткрытым ртом, спал ее нелюбимый сын. Потом, вздыхая, Клара нежно целовала спящую дочь.

На следующее лето Клара приехала на дачу с матерью и Инной. Для Алика удалось выхлопотать путевку в лагерь на Азовском море. Все повторялось четко по сценарию – Фаина бестолково возилась в огороде, с гордостью демонстрируя соседям то жалкий, бледно-желтый, с мизинец, хвостик морковки, то кривоватую свеклу, размером с орех, то полведро такой же мелкой картошки.

– Своя! – при этом с гордостью объявляла она.

Клара вздыхала и безнадежно махала рукой. Инна все толстела, грызла то сухари, то печенье, так же сидела кулем на бревне за калиткой, молчала и смотрела на мир красивыми, с яркой синевой, незаинтересованными, туповатыми глазами. Клара в своем неизменном дачном «наряде» варила свои неизменные обеды, стояла подбоченясь на крыльце, нещадно ругая мать, сцепляясь с соседями, всех критикуя и нахваливая свою ненаглядную дочь. Об Алике она не вспоминала.

Он приехал в конце августа сам, на электричке, с маленьким, старым коричневым чемоданчиком – встречать с юга Клару его не поехала. Был он загорелый, сильно вымахавший, голенастый и по-прежнему нелепый и угловатый.

– Явился, малахольный, – тепло приветствовала его мать.

Алик привез всем подарки: пластмассовую, блестящую, с камушками, заколку для сестры, маленький пестрый платочек для бабки и шкатулку из ракушек для матери. Мать повертела в руках шкатулку и бросила:

– Надо на такое говно деньги тратить!

Евгения Семеновна – свидетельница этой сцены, расстроилась до слез и, когда муж уехал в Москву, с гневом выговорила Кларе. Та искренне удивилась:

– Что вы, Евгения Семеновна, да не обиделся он вовсе. Ну правда, что деньги на ерунду-то тратить! Они же у нас считанные!

– Господи, Клара, но вы же не понимаете элементарных вещей! Вы вроде неплохая женщина, сами столько страдали! Откуда же такая черствость по отношению к собственному ребенку! Мальчик старался, деньги на мороженое не проел, а вы так – наотмашь. Это, конечно, не мое дело, – горячилась Евгения Семеновна. – Но смотреть на это просто невыносимо.

Клара с удивлением взглянула на соседку.

– Ну и не смотрите, Евгения Семеновна, займитесь своими делами. – И, развернувшись, она удалилась в дом.

Евгения Семеновна проплакала весь вечер – благо муж уехал и скрываться было не от кого.

«Господи, куда я лезу? Разве можно научить эту хабалку, это чудовище чувствовать? Бедный, бедный Алик! Несчастный мальчик!»

Вдруг в голову пришла простая и гениальная мысль. Забор! Конечно же, забор! Не жалкий прозрачный штакетник, безжалостно вываливающий на нас подробности чужой непонятной жизни, на которую невыносимо смотреть, а плотный, без единой щелочки, горбыль, высокий, два метра точно. Вот благо, вот спасение. И Евгения Семеновна, успокоившись, решила, что как только приедет на выходные муж, она с ним поделится своими мыслями. А причину и придумывать не надо. Надоели. Просто надоели – и все. Давно надо было сообразить, хватит сердце рвать невольными наблюдениями. Все равно эту халду Клару с места не сдвинуть.

Алика к себе, на свои чаи, теперь она звать стеснялась – уже юноша, не ребенок, возраст сложный, отягощенный обстановкой в семье, обидится еще на эту жалость. Проходя как-то по просеке в местную лавочку за хлебом, столкнулась с ним.

– Как ты вырос, Алик! – Смутились почему-то оба. Вырвалось: – Что не заходишь совсем?

Алик помолчал, а потом тихо бросил:

– Да дела всякие.

Она кивнула.

– Шкапулку ты очень красивую матери привез, – для чего-то сказала она. Он покраснел, опустил глаза, смущенный, понимая, что она слышала Кларину пренебрежительную реплику по поводу его подарка, и грубовато бросил:

– А ей не понравилось, – а потом простодушно добавил: – Лучше бы я вам ее привез.

У Евгении Семеновны сжалось сердце. Проглотив предательский комок в горле, она попыталась ободрить мальчика:

– Ну, в следующий раз, Алик, все впереди.

Чтобы не разреветься, опустив голову, она быстро пошла по тропинке. А он ее нагнал, рванул тонкую тесьму на шее и протянул что-то в кулаке:

– Это вам.

Он разжал длинную, смуглую ладонь, и она увидела там гладкий, отполированный временем и морем голыш с дырочкой почти посередине.

– Куриный бог, – вспомнила Евгения Семеновна смешное словосочетание. – Редкость какая! – подивилась она. – Не жалко?

Алик резко мотнул головой и крутанул колесо велосипеда. Велосипед рванулся вперед.

– Спасибо! – крикнула вслед ему Евгения Семеновна.

Господи, какой тонкий ребенок. Тонкий и несчастный. Опять заныло сердце. На Клару она обиделась за Алика на этот раз глубоко и всерьез, но саму Клару это не очень-то беспокоило. В двадцатых числах августа она с дачи съехала – собирать детей к школе. Алик шел в девятый класс. Инна с трудом переползла в седьмой.



\* \* \*

В мае Евгения Семеновна уже выезжала на дачу – самое время сажать цветы, перекапывать грядки, высаживать рассаду, заполонившую все подоконники и возможные и невозможные пространства в квартире. Все эти баночки, коробки из-под сока, молока и йогурта очень раздражали ее мужа.

Клара приехала в июне и вела себя как ни в чем не бывало. Обид она не помнила и ссор тоже – хорошая черта. Навалившись на хлипкий штатетник грузным телом, она между делом рассказала, что у Алика открылся внезапно какой-то талант по новому предмету – информатике, даже учитель этой самой информатики отдал ему свой старый компьютер, и Алик сидит за ним с утра до ночи и даже пишет какие-то программы.

– В общем, способности у него, – равнодушно добавила она и переключилась на Инну. Теперь она спрашивала у соседки совета по поводу дальнейшего устройства Инниной судьбы, честно признаваясь (а это ей было нелегко), что учиться девочка совсем не может, тянет еле-еле. Дай бог, чтоб закончила восемь классов. А что потом? В парикмахеры? Хотя, сетовала горестно Клара, не такой судьбы она хотела бы для дочери, не прислуживать, и потом, на ногах целый день. – Может, что посоветуете, а, Евгения Семеновна? – жалобно спросила она.

– А об Алике вы не беспокоитесь? – резко отозвалась Евгения Семеновна. – Ведь если он не поступит – впереди армия. А куда ему армия, он такой неприспособленный, нестандартный ребенок.

Клара беспечно отмахнулась:

– Да поступит он, куда денется? Педагог его сказал, что такого, как он, оторвут с руками и ногами. Факультет какой-то в МГУ, забыла, как называется. А вот с Инночкой что делать, ума не приложу! – И печальный ее взгляд обеспокоенно затуманился.

Инночке меж тем можно было дать лет примерно тридцать: полная, сбитая, ядреная бабенка – какая там школа. Грудь четвертого размера, подведенные прекрасные глаза, умело накрашенный рот, лак на ногтях. «Замуж ей уже пора, а не в школу с портфелем», – думала Евгения Семеновна.

Инна на улицу уже не выходила, а днями сидела на скамейке в саду, грызла семечки и смотрела вдаль. Бывший муж Клары в то лето почему-то не появлялся.

Евгения Семеновна не спрашивала – она была не любопытна, но Клара поделилась сама, видно, ее распирало.

– Ну, как вам это нравится? – с вызовом обратилась она к Евгении Семеновне.

– Вы о чем, Клара? – не поняла та.

– Да я про супруга своего бывшего. Про этого малахольного, – объяснила Клара. – Женился он, представьте себе. На своей же двоюродной сестре. Той – сорок пять, старая дева, придурочная по полной программе. – Клара весьма живо освещала этот сюжет. – Страшная! – с удовольствием отметила она и закатила глаза. – Тощая, на голове три пера, нос до подбородка! А сообразила! В общем, сошлись. – И, помолчав, она добавила: – У нее, между прочим, трехкомнатная на Ленинском.

Это, видимо, задевало ее больше всего.

– Ну так радуйтесь, Клара, – призвала ее справедливая Евгения Семеновна. – Одинокие люди нашли друг друга. Пусть живут.

– Пусть, – вяло согласилась Клара. И опять тяжело вздохнула: – Что делать с Инночкой, ума не приложу.

А Инночка сама разрешила сложный вопрос по поводу дальнейшего устройства собственной жизни. К середине августа Клара, случайно увидев как-то вечером голую Инну, натягивающую на пышное тело ночную рубашку, обнаружила, что дочь беременна. Пропустила это

многоопытная, бывалая и ушлая Клара легко. У толстой Инны до шести месяцев живот был практически незаметен. Клара надавала ей по мордасам, а потом долго обнимала и целовала, периодически отстраняя ее от себя и пытая, кто же отец ребенка.

– Инночка, милая, ты только мне имя его назови, – елеиным голоском просила Клара. – Только имя! А дальше я все сделаю сама.

Инна молчала и качала головой. Зоя Космодемьянская. Клара пыталась воздействовать то пряником, то кнутом, обещая Инне или свадьбу («Я это устрою!»), или хотя бы алименты («Куда он от меня денется!»). Инна сидела на кушетке и мотала головой.

– Я проведу расследование, я его посажу, – пообещала Клара.

Инна сунула матери под нос здоровущую фигу, а потом сказала:

– Иди отсюда, спать хочу. – И зевнула, широко и сладко.

Конечно, бедная Клара убивалась. Такую свинью подсунула обожаемая дочь – не этот поганец Алик, от которого всего можно ожидать, а Инна, тихушница и домоседка.

– Я, – сокрушалась Клара, – я виновата во всем, проглядела, прошлапила. За такой красоткой (это она о тупой Инне) нужен глаз да глаз. А где мне уследить! – Она уже шла в наступление. – Мне же надо думать о том, как семью кормить. Вон их сколько на моей шее! – Голос Клары постепенно переходил на крещендо.

Евгения Семеновна соседку жалела. Сочувствовала. Пыталась давать нелепые советы типа привлечь милицию – девочке только пятнадцать лет.

Но Инка Кларе пригрозила: мол, только начни копать, уйду из дома, меня не увидишь. Допустить этого Клара не могла. Постепенно она стала приходить в себя и мудро постановила: так – значит, так. Клара набрала побольше воздуха и принялась действовать. Во-первых, отвезла Инну в Москву, в женскую консультацию. Во-вторых, пошла к школьной директрисе – та оказалась нормальной теткой, и они договорились, что формально Инна будет на домашнем обучении и в итоге получит аттестат о восьмилетнем образовании. Потом она поехала в институт, куда Алик собирался поступать, и нашла там декана. Алик уже ходил на подготовительные курсы и писал яркие работы, не было сомнений, что мальчишка – талант и обязательно поступит. Но цель у Клары была другая – выбить для Алика место в общежитии, иначе они не разместятся вчетвером в крохотной хрущобе со смежными комнатами. Декан объяснял, что москвичам общежитие не полагается. Клара из кабинета не выкатывалась, рыдала не прекращая и в общей сложности провела там два с половиной часа. Декан был уже готов жить на вокзале и поселить абитуриента Брудно в своей собственной квартире. Только бы эта сумасшедшая тетка наконец ушла. В итоге общежитие он пообещал. Громко сморкаясь, Клара покинула его кабинет.

Алик был опять задвинут на задворки – Клара устраивала судьбу любимой дочери. В ноябре Инна родила дочку. Клара подолгу вглядывалась в лицо младенца, пытаясь, видимо, разглядеть черты неизвестного участника этой истории. Девочка была похожа на Клару – черненькая, темноглазая, губастая. Внучку Клара полюбила всей душой. Но все же единственной настоящей ее страстью оставалась Инна, которая после родов еще больше раздалась и по-прежнему была невозмутима. Часами стояла с коляской во дворе их московского дома на радость соседкам на лавочке у подъезда – они пытали ее, кто отец ребенка. К суровой Кларе с такими вопросами не обращались, боялись ее гнева. Клара устроилась уборщицей в соседний магазин. Алик жил в общежитии, получал повышенную стипендию. Существовал автономно. Домой заезжал редко. Клару это не заботило.

Летом на дачу выехала вся семья – младенцу нужен воздух. Инна прогуливалась с дочкой по просеке. Особо любопытные совали нос в коляску, где лежала маленькая «Клара». Три раза в неделю Клара ездила в Москву на работу. Фаина продолжала свои аграрные опыты. Алик уехал на шашку куда-то в Центральную Россию – строить коровник. В начале сентября появился – загорелый дочерна, в потертых джинсах и китайских кедах. Привез семье

приличные деньги. Клара не сказала ему ни одного доброго слова. Он выпил чаю и уехал в город. Ночевать не остался. Клара решила сдавать московскую квартиру – работать ей было уже тяжело. Дачу нужно было утеплять – готовить к зиме. На Аликовы деньги она наняла рабочих из Средней Азии, поселила их в сарае, и они принялись за дело. Худо-бедно утеплили дом, подправили печку, запасли дров на зиму.

Евгения Семеновна испытывала чувство неловкости. Ее дом – кирпичный, с АГВ и батареями, с горячей водой и туалетом в доме – всю зиму оставался пустовать. А Кларина хибара, несмотря на все ухищрения, вряд ли выдержит даже несильные морозы. А ведь в доме ребенок и старуха. Измучившись, она наконец решилась на разговор с мужем.

– Пустить их на зиму? – рассвирепел он. – Ты совсем ума лишилась. Это же табор цыганский, все сломают, все засрут. Тебе-то что до них? У них есть квартира в Москве, пусть сами решают свои проблемы. Ты, Женя, полоумная, ей-богу! – И, не доев обед, он резко встал из-за стола.

Конечно, формально он был прав. Этот дом им дался с великим трудом, долго копили деньги, во всем себе отказывали. У Евгении Семеновны, с ее педантичностью, все было аккуратно, в идеальном порядке: кружевные салфетки, шелковые, вышитые ею же наволочки на подушках, ковры, посуда – словом, все наживалось нелегко, береглось и радовало глаз. И вправду, как пустить эту неряху Клару со всей этой оравой? Не приведи Господи, потом до конца жизни не отмоешь и не приведешь в порядок – все разнесут, перебьют, искалечат. Нет, муж конечно же прав, как всегда, прав, да и как она может пойти ему наперекор! И правда, у всех своя жизнь, свои трудности. Почему у нее, в конце концов, должна болеть совесть из-за абсолютно чужих, безалаберных людей?

К следующему дачному сезону Евгении Семеновне открылась следующая живописная картина: Инна опять была в положении. На этот раз отец был известен: один из рабочих-таджиков, халтуривших на Клариной даче. Для Инны не существовало условностей, и она всю сожительствоваала с новым кавалером по имени Назар – маленьким, тощеньким, чернявым, плохо говорящим по-русски. Назар теперь жил в Кларином сарае – Инна туда ходила на свиданки. Клару эти события так раздавили, что она уже практически не возмущалась – видимо, просто не было сил. В дом она Назара не пускала, и Инна носила ему еду, как собаке, – в миске. Впрочем, прок от него тоже был – он подправил забор, сколотил новую калитку, скосил траву, поправил худую крышу. Клара его терпела.

Инна родила мальчика – чернявого, мелкого и юркого. Назар уехал на родину на побывку и почему-то больше не вернулся. Может быть, его там женили, а может, что-нибудь еще. Словом, пропал, сгинул, испарился. Переживаний на Иннином лице заметно не было. По-прежнему непроницаемая, она катала по просеке коляску с младшим ребенком, а рядом ковыляла уже подросшая девочка. Клара же продолжала тянуть свой тяжелый воз.

А Алику тем временем задумал жениться. У него завязался первый (и последний) серьезный роман. Девочка с соседнего курса, Аллочка, тоненькая, с невыразительным личиком, тихая, скромная, родом из Мончегорска. А какая еще обратит на Алику внимание? Алику влюбился без памяти – первая любовь, первая женщина. После первой совместной ночи сделал ей предложение. Она конечно же согласилась. Не из корысти, какая с него корысть? По искренней любви. Алику повез Аллочку знакомить с матерью.

Подбоченьясь, Клара стояла на крыльце – заведомо готовая к атаке. Алику с невестой привезли шампанского, большой торт, цветы и игрушки детям. Клара придирчиво осматривала будущую невестку, и по всему было видно, что она не в восторге. Попили чаю, выпили шампанского, и молодые укатили в город. Клара, повиснув на заборе, жаловалась Евгении Семеновне:

– Ни рожи, ни кожи. Тела – и того нет. – Это она про будущую невестку. – Глиста в скафандре. Нищета, голь перекатная, черт-те откуда.

В общем, в невестки Кларе Аллочка явно не подходила и подверглась жестокой критике. То, что молодые жили трудно, в общежитии, учились на сложнейшем факультете, что девчонок было на этом факультете всего шесть, и одна из них – Аллочка, поступившая туда без блата и каких-либо денег, то, что молодые подрабатывали по ночам – писали курсовые, дипломы, – то, что девочка скромна, интеллигентна, из хорошей провинциальной семьи и, главное, безумно влюблена в ее сына – ничего в расчет не бралось.

– Нищета, – презрительно кривя губы, повторяла Клара и резонно добавляла: – А зачем нам нищие, если мы сами такие?

Заметим: Инна, отцы ее детей, ее дети, ее тотальная тупость и безделие – все, что с ней связано, критике не подвергалось, ни-ни.

Свадьбу молодые играли в студенческой столовой – на большее денег, естественно, не было. Клара на свадьбу не поехала, правда, не по своей вине – заболели малыши. Конечно же, ничего ужасного, и их нерадивая мать Инна с ними бы справилась, не померла бы – подумаешь, температура. Но Клара бросить Инну в такой ситуации не могла. Алика – пожалуйста. Ничего, переживет. В конце концов, там радость, а здесь беда. Где должна быть верная мать? Евгения Семеновна Кларе позавидовала – живет человек трудно, да, трудно, но ни в чем не сомневается. Никаких душевных мук. Любит, так любит. А не любит – ну что поделаешь. Так все и катилось. Фаина заболела, уже не выходила в свой огород и тихо умерла в конце августа. Инна возилась с детьми, Клара билась за хлеб насущный – квартиру они уже не сдавали, зимовать в доме было несладко: из щелей дуло, дети ходили в соплях. Клара работала в двух местах. Почему-то не возникало мысли посадить дома Клару, а молодую и здоровую кобылу Инну отправить на заработки.

А Алик окончил институт и уехал в Америку. Впрочем, контракт он получил еще на последнем курсе – его работой заинтересовался крупный промышленный концерн. Верная Аллочка была конечно же рядом. Жили они душа в душу – лучше не бывает. Алик пахал как вол. Сначала квартиру снимали, потом появилась возможность взять ссуду в банке, и они купили дом. Аллочка родила близнецов – Веньку и Даньку. Пошла работать – выплачивать ссуду за дом было нелегко. Наняли няню – молодую девочку из Тирасполя.

Алик передавал матери объемные посылки с тряпками. Клара неизменно возмущалась, демонстрируя Евгении Семеновне очередную блузку или жакет:

– Зачем мне это? Что я – модница какая-то? Я женщина скромная и работающая. – Она подробно изучала ярлыки и наклейки с ценами и раздражалась: – Малахольный, как есть малахольный. Шестьдесят восемь долларов за эту несчастную юбку! Куда мне в ней ходить? На презентацию? Лучше бы деньги прислал!

– Он же хочет доставить вам радость, – увещевала ее Евгения Семеновна. – Вы таких вещей сроду в руках не держали. Будьте справедливы, Клара. Алик – прекрасный сын. Ему сейчас ведь непросто, только на ноги встает, двое детей!

Все напрасно. Клара опять возмущалась.

– А этот дом! – кипела она, – нет, вы посмотрите на этот дом! – Она тыкала в лицо Евгении Семеновне цветные глянцевые фото. – Барин какой, посмотрите на него! Дом ему нужен в два этажа. И еще подвал. Что он там, танцы устраивает?! И говорит, что там так принято. Я же говорю – малахольный.

Доставалось и безобидной невестке Аллочке:

– Нет, вы подумайте, как этой задрыге повезло! Ведь смотреть не на что – тихая, как мышь, а она уже в Америке! Дом у нее, няня! – Клара всхлипывала и утирала повлажневшие глаза. – А Инночка моя – красавица, все при ней, и что она видела в этой жизни?

Евгения Семеновна, вздыхая, махала рукой и уходила в дом. Далее вести диалог с Кларой не было никакого смысла. Материнская любовь слепа, глуха и не поддается никакой логике, впрочем, так же, как и нелюбовь. Не учитывалось, что Аллочка умница и труженица, верная

жена и прекрасная мать, а Инна – дура и ленивая корова. У Клары была своя незыблемая правда.

Между тем дела у Алика пошли в гору – он оказался гениальным программистом. Теперь они могли позволить себе многое – ссуду быстро выплатили, купили прекрасные машины, наняли садовника и домработницу, ездили по всему миру. Но при этом оставались такими же скромнягами и трудягами. И конечно, Алик не забывал мать и сестру. Теперь он регулярно переводил им деньги, и в посылках оказывались и норковые шубы, и золотые украшения. Клара, правда, опять была недовольна: не тот цвет шубы, не того размера камень в кольце или что-нибудь еще. Она опять нещадно критиковала сына. Сделала ремонт в квартире, поменяла на даче крышу и забор, съездили с Инной и детьми на море. Алик звонил раз в неделю и спрашивал, не нужно ли еще чего. Нужно было многое. Алик все исполнял по пунктам. А потом решил забрать мать с сестрой и племянниками в Америку. Клара не хотела ехать ни в какую. Аргумент был прост:

– Что я там не видела?

– Клара, вы сумасшедшая, – уговаривала ее Евгения Семеновна. – Это же такая прекрасная и удобная страна! У вас там будет замечательная и спокойная старость. И потом, вы столько всего увидите!

– Что я увижу? – удивлялась Клара. – Кислую рожу своей невестки?

– Ну, знаете! – задыхалась от возмущения Евгения Семеновна.

И все-таки они собрались. Уговорила Клару Инна, сказав: «Может, я там замуж выйду?» Клара восторгалась, но продолжала возмущаться и кудахтать. Как собраться, столько дел: продать дачу, квартиру, все оформить. Дело и вправду нелегкое для женщины весьма преклонного возраста. Инна, как всегда, в расчет не бралась. Да и какой с нее толк?

Алик взял отпуск и прилетел в Москву. Купил скотч и коробки, чтобы паковать, спорил с матерью по поводу старых кастрюль с отбитой эмалью и ветхого постельного белья. Клара кричала, что все это нажито непосильным трудом и что она ни с чем не расстанется. Шантажировала Алика, что она никуда не поедет. Инна сидела у телевизора и грызла орехи. Ни в сборах, ни в спорах она не участвовала. Клара обвиняла Алика, что он лишил ее спокойной старости, насиженного места и, наконец, родины. Алик был терпелив, как агнец.

Инна вступала, кричала, что Клара – дура и хочет испортить ей перспективу. Клара ненадолго приходила в себя. Алик продал квартиру, деньги, естественно, положил на Кларино имя.

А с дачей вышло вот что. Клара дала ему доверенность на продажу. Он поехал на дачу и оформил дарственную на Евгению Семеновну, к тому времени овдовевшую и сильно нуждающуюся. Евгения Семеновна конечно же от такого царского подарка долго отказывалась, сопротивлялась, как могла, плакала, но Алик был тверд как скала.

– О чем вы говорите, это для меня такая мелочь, – сказал он, понимая, что от денег она просто откажется, не возьмет ни в какую. – Вы для меня столько сделали! Только от вас я и видел в детстве тепло и заботу!

Евгения Семеновна опять заплакала. Алик обнял ее, положил на стол бумагу с дарственной и вышел, оставив ее потрясенной и обескураженной.

Клара об этом, естественно, не узнала. Алик просто положил на ее счет деньги за якобы проданную дачу.

В Америке он снял им квартиру недалеко от своего дома.

– Чтобы семья была рядом, – объяснил он ей.

Но прекрасный, тихий, зеленый район Кларе не понравился.

– Я здесь от скуки помру, – уверяла эта «светская львица».

А вот Брайтон произвел на нее неизгладимое впечатление:

– Там все свое: и магазины, и люди, и океан наконец.

Алик снял ей квартиру на Брайтоне. Клара опять была недовольна:



– Не хочу жить в чужих стенах. Что я, беженка, что ли?

Алик не стал объяснять, что покупать квартиру дорого и невыгодно. Он просто купил ей квартиру на Брайтоне. С видом на океан.

Инна теперь целыми днями сидела на пляже, подставляя мощное тело лучам солнца. Дети пошли в школу. Клара ходила в магазины и заводила знакомства. У нее была цель – сосватать Инну. Свой товар она нахваливала усердно, тыча всем под нос Иннины фотографии десятилетней давности.

Про сына говорила небрежно – так, ничего особенного. Всегда был малахольным. Сын, дающий ей неплохое содержание, ее по-прежнему не впечатлял. На его детей она тоже не реагировала, невестку подчеркнуто игнорировала – что о них говорить? А Инниных туповатых отпрысков обожала неистово.

Раз в неделю Алик возил Клару по окрестностям (Инна, кстати, сразу отказалась, заявив, что ей и на пляже хорошо). Клара мрачно комментировала увиденное. Америка не произвела на нее впечатления. Алик приглашал ее на обед в рестораны – японские, французские, китайские, пытался удивить. Клара брезгливо ковыряла вилкой в тарелке. Великая кулинарка Клара!

– У нас, на Брайтоне, вкуснее!

Там и вправду было вкусно. Но мы же не об этом! Алик привозил ее к себе в дом. Кларе не нравились обстановка и Аллочкина стряпня. Аллочка тихо плакала и тихо обижалась. Алик это никак не комментировал.

Инна завела себе любовника – здорового негра-полицейского. В душе, конечно, Клара была не в восторге. Она рассчитывала как минимум на одессита – хозяина магазина женского белья или владельца ресторана из Бендер. Но счастье Инны для нее было законом, и она неумело варила для новоиспеченного зятя борщи. Через два года Инна родила очень смуглую девочку, хорошенькую, как кукла. Эта девочка стала самой пламенной Клариной любовью.

Полицейский на Инне не женился, но к ребенку приходил исправно, грозно предупреждая в дверях Клару:

– No borsch, mam!

Клара с восторгом возилась с черной внучкой, а Инна по-прежнему грела окорока на брайтонском пляже. У нее был свой ритм жизни. И похоже, она была вполне счастлива.

Клара важно прогуливалась по Брайтону с коляской и на каждом метре цеплялась языком. И персики в Москве были лучше, и колбаса вкуснее, и люди добрее, и квартира у нее была чудная. А какая дача! Одним словом, послушать Клару – ее прежняя жизнь была удивительна и роскошна. Америку она ругала нещадно, обвиняя сына в том, что привез ее, бедную, сюда, не считаясь с ней.

– Мне это надо? – грозно вопрошала она и, не дождавшись ответа, двигалась дальше, подталкивая коляску внушительным животом.

Умерла Клара ночью от инсульта, прочтя Инкину записку, что та уезжает с дочкой и своим возлюбленным в Алабаму – навсегда. Клара зашла в детскую, увидела пустую кровать внучки, открыла шкаф – он тоже оказался пуст. Она упала на пол и не смогла дотянуться до телефона. К вечеру обеспокоенный Алик приехал к ней. Клара лежала на полу со сжатым кулаком.

На похоронах Алик безутешно плакал. Через полицейское управление он нашел алабамских родственников Инниного любовника, но сестра на похороны не приехала.

Алик поставил Кларе памятник из розового мрамора. Написал трогательную эпитафию. Страдал. Не брился. Держал траур. Взял к себе Инниных детей, устроил их в дорогую школу. Продолжал высылать деньги сестре. Заказал у недешевого художника Кларин портрет по фотографии. Повесил его в спальне. Под портретом стояли живые цветы – всегда. На тумбочке у кровати в серебряной рамке стояла Кларина фотография.

Перед сном он тихо бормотал:

– Спокойной ночи, мамочка.

Аллочка вздыхала, долго ворочалась, удивляясь своему мужу. И думала – действительно малахольный, Клара была все-таки права.

И немного стесняясь своих мыслей, Аллочка засыпала, а Алик еще долго не мог уснуть, страдал и смотрел на Кларину фотографию, тонувшую в ночном мраке счастливой семейной спальни.

## Проще не бывает

Вообще-то они старались его не беспокоить – только крайний случай, самый крайний, когда без него уже точно было не обойтись. А так оберегали, жалели, понимали, какая непростая у него жизнь. Родное дитя. Дитятко, прости господи, сорока лет. Крупный, полноватый и вовсю лысеющий дядька, если разобраться. А для них, стариков, как он их теперь называл конечно же дитятко. А жизнь и вправду была, мягко говоря, непростой – все неприятности нажились разом, в одночасье, оскалившись зубастой пастью. Капитализм (хотели – получите), созданный только здесь, на отдельно взятой территории родного государства, которое, впрочем, как всегда, в любые времена оставалось таинственным и пугающим, притягивающим и отталкивающим, загадочным для всех мало-мальски цивилизованных людей. Приходилось выживать. Она, эта жизнь, не намекала, а громко заявляла – выживет здесь сильнейший, слабакам тут не место. В слабачках ходить не хотелось. Но часто просто не было сил. Никаких – ни душевных, ни физических. Всё на сопротивлении. Впрочем, и к этому привыкают.

Сдали родители, как ему казалось, сразу, в один день. Но это, конечно, было не так. Просто до времени они тоже старались сопротивляться, отчаянно не желая мириться с наступающей немощью и болячками. И опять, опять главная тема – жизненный рефрен: не беспокоить его. Только когда самый край! Ну просто некуда деваться. Вот тогда-то и звонила мать, отец почему-то стеснялся больше – конечно, трудно активному и зарабатывавшему всю жизнь приличные деньги человеку (только бы семья ни в чем не нуждалась) сказать правду: «Да, я пенсионер, почти старик, и не я теперь тебе, как привык, а ты – мне». Невозможно это сказать даже собственному сыну. А он его считал собственным сыном, тут не было никаких сомнений, кстати, ни у кого. Но об этом позже.

Сегодня отец позвонил. Сначала – общий разговор:

– Ты не занят? Говорить можешь?

Потом, смущенно кхекая:

– Слушай, нам так неловко, но ты же знаешь, мать не встает, и моя нога... В общем, дышим на балконе. На двух табуретках. Шера с Машерой, прости господи, – горько добавил он и, вздохнув, замолчал.

– Конечно, заеду, о чем речь, сразу после работы, давай список и без вступлений, о'кей?

Отец опять вздохнул и засуетился, понимая, что отнимает у сына драгоценное время.

– Господи, куда же эта бумажка подевалась? А! Вот она! – облегченно вскрикнул он. – Пишешь? – И затем несложные пункты. – Только яблоки не забудь матери обязательно! Ты же знаешь, ей на ночь нужно непременно съесть яблоко, – беспокоился он. – И не покупай мясо в «Перекрестке» – там такие цены!

– Господи, пап, ну какие цены! – взорвался сын. – Мое время дороже! Все, до вечера!

Отец вздохнул и медленно положил трубку на рычаг.

\* \* \*

Мать сошлась с ним, когда сыну было шесть лет. С матерью у мальчика с рождения была острая зависимость друг от друга – ощущаемая физически неразрывная и неколебимая связь, нежная дружба и взаимное уважение и бесконечная, томительная любовь.

В детстве на уровне известного всем эгоистического страха – а если вдруг умрет мама? И ужас среди ночи, и холодный пот по спине. В юности, конечно, бывало всякое – стыдно вспоминать. Но позже, в зрелости, любовь к матери стала таким явным и глубоким чувством, вечным беспокойством, болью и страхом – не дай бог, не дай бог! Маменькин сынок! Если

хотите, то да! Абсолютно маменькин. При этом вылетевший из теплого и сытого отчего дома в двадцать лет – абсолютно добровольно (ну мужик я или не мужик?!). Он часто размышлял, как она смогла не покалечить его, не изуродовать – со всей своей авторитарностью и безумной любовью. Как хватило у нее на это мудрости? Как сумела она определить эту тончайшую грань, не переборщить, не перегнуть, расставить тонко и чутко акценты, чтобы вырос человек, жизнеспособный мужик. С ее, в общем-то, деликатным подходом к жизни, с плотно вбитыми с детства установками, что хорошо, а что плохо, абсолютно не работающими сейчас. Его всю жизнь это разрывало на куски – мальчик из приличной семьи, постулаты понятны и известны: не зарься на чужое, не лги без необходимости, ничего не делай за счет других, не поступай с людьми так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой, сохраняй лицо – с этим легче жить, поверь моему жизненному опыту. Ничто не стоит душевного комфорта и равновесия.

И проще: помоги старику, защити женщину, не пройди мимо плачущего ребенка – семейные заповеди. А кто не знает, как сложно следовать заповедям при нашей-то человеческой слабости и людских пороках?

А вообще-то хотелось соответствовать и нравиться хотя бы себе. Ему казалось иногда, что он оставляет себя истинного где-то дома, словно сдает на хранение, а на улицу выходит другой человек – с холодными глазами, пружинистой походкой, подобранный, осторожный и предусмотрительный, готовый к жесткой обороне и изнурительной борьбе. Не он, кто-то другой. Ну а если образно – то ему казалось, что он надевает пластмассовые белые детские челюсти с клыками из магазина, где продается подобная ерунда.

Итак, из прошлого: ему было шесть лет, когда мать задумала уйти от его отца. Верным детским чутьем, краем уха, он конечно же понимал, что не все в порядке в Датском королевстве, – засыпая, слышал за закрытой дверью разговоры родителей на повышенных тонах, видел их молчание утром и поджатые губы матери, ее раздражение и плохое настроение, ее слезы и долгий взгляд в одну точку. Что-то цеплялось в голове и тут же благополучно из нее выветривалось. У него были свои проблемы. А они – взрослые – сами разберутся.

Однажды отец долго собирал чемодан в спальне – мать сидела на кухне и курила. Он, маленький, что-то, несомненно, чувствовал, помнил, как громко колотилось сердце. Потом отец зашел в его комнату и порывисто, резко притянул его к себе. Он запомнил, что отцовские руки крупно дрожали. Отец взял чемодан и вышел, громко хлопнув входной дверью. Мать зашла к мальчику спустя какое-то время, прижала его к себе и заплакала.

– Вот и все, – бормотала она. – Конец нашей семейной жизни. Вот и все.

Ему хотелось вырваться из ее плотных объятий и что-то спросить. Но он не посмел. Тогда она сама посадила его на маленький, расписанный под хохлому детский стульчик напротив себя и уже спокойно и четко объяснила ему ситуацию.

– Мы разошлись с твоим отцом, сынок. Ну, так сложилось. Ты уже взрослый человек (Господи, это ему-то, шестилетнему ребенку) и должен нас понять. Так бывает. Бессмысленно жить вместе, если уже ничего друг с другом не связывает. Хотя, нет, конечно, я конченная эгоистка! Ты, и только ты, нас связываешь. Это, конечно, самое главное, ты же понимаешь. Но есть еще я, я у себя, понимаешь? И моя жизнь. Ну не хочется ее псу под хвост, да?

Он кивнул, почти ничего не понимая. А мать продолжала бормотать:

– В общем, невозможно стало вместе жить, сын. Ты потом поймешь меня, я уверена, а сейчас просто прости и прими на веру. Я знаю, что делаю тебе больно, но дальше было бы еще больнее.

Она что-то еще бормотала скороговоркой, тихим шепотом, вытирала ладонью слезы, прижимая его к себе сильнее, потом говорила уже громко, страстно, что-то объясняя ему, а на самом деле конечно же себе. Ему была тягостна эта сцена, и еще почему-то было сильно жалко мать и неловко как-то – ну зачем она так горестно плачет? А потом она отодвинула его от себя и сказала, честно глядя ему в глаза:

– Я полюбила другого мужчину. Вот и вся история. В этом-то все и дело.

В голове были каша и полный сумбур. Он устал, сильно вспотел и понял из этого только одно – отец с ними жить больше не будет. По большому счету это не огорчило его и не расстроило. Важно было задать один вопрос – главный, – и он его задал.

– А ты? Ты будешь со мной жить? – спросил он и почувствовал, как что-то гулко бухнуло у него в груди.

– Господи! Что ты себе думаешь? – ужаснулась мать. – Разве мы можем куда-нибудь друг от друга деться?! Мы неразделимы – ты и я. Понимаешь? – тихо сказала она, и он видел ее бледное лицо и огромные темные глаза, полные тоски и отчаяния. Она повторила: – Мы с тобой неразделимы.

Он кивнул.

– Ничто и никогда нас не сможет разлучить. Запомни это навсегда.

Он снова кивнул.

– Бедный мой ребенок! – Она засмеялась. – Захочешь от меня избавиться – не избавишься. – Мать провела рукой по его голове. – Ну все, давай ложись, хватит с тебя впечатлений.

Ложиться ему совершенно не хотелось, и он слегка спекульнул:

– А мультики посмотреть можно?

Мать вздохнула и кивнула:

– Сегодня тебе все можно.

Минут через десять он смотрел «Остров сокровищ» и уже не думал ни о чем. А когда засыпал, мелькнула мысль, что жизнь меняется – ну и ладно. Главное – мать будет рядом с ним и обещала ему, что это навсегда. Он привык ей верить и крепко уснул, вполне счастливый. По большому счету все оставалось на своих местах. А по поводу каких-то изменений он не беспокоился.

Отец уходил тяжело, рывками – то приходил и спал в гостиной, то исчезал на недели. Когда он приходил, мать опять сникала и виновато опускала голову. Он слышал, как она просила отца:

– Ну будь мужиком, все кончено. Порви. И начни свою жизнь.

Он отвечал ей:

– Ишь ты какая, хочешь, чтобы все ладком да рядком. И чтобы меня не было в твоей жизни. Чтобы все с чистого листа. А я есть, понимаешь, я есть! Живой и битый, но есть, уже полуживой, но есть. И придется тебе с этим жить.

Мать опускала голову еще ниже. А через полгода отец женился – спешно, скоропалительно на странной, пугливой и тихой женщине с нездешним именем Богита.

Он помнил, как эта худая и бледная тетка протянула ему холодную узкую руку и сказала:

– Будем друзьями.

Он послушно кивнул.

Когда отец окончательно ушел, мать расцвела, повеселела и опять стала петь по утрам. А вечерами, закрывшись у себя в комнате, часами тихо ворковала по телефону, и он слышал ее частые и хрипловатые смешки. И понял тогда – она счастлива.

Отчим пришел к ним в гости через месяц после окончательного ухода отца. Мать предупредила:

– Сегодня в гости к нам придет очень важный для меня человек.

Он все понял.

Мать накрыла на стол, испекла пирог с яблоками. Убрала квартиру. Надела свое любимое платье – синее в белый горох. Распустила волосы. И он гордо подумал, что она очень красивая и молодая, его мать. Гость ему тоже понравился – крепкий, высокий дядька, с темными, вьющимися волосами, зачесанными назад. В руках он держал здоровущую коробку с какой-то техникой. Ух ты! Пожарная машина! И откуда это, интересно, он узнал? Потом сидели за



столом, ужинали, пили чай, и обычно немногословная мать что-то говорила, говорила. И очень много смеялась. А вечером, перед сном, зашла к нему, как обычно, в комнату: ну, как всегда, поцелуйчики, объятия, разговоры, объяснения друг другу в любви – каждодневный ритуал, известный только им одним. И потом спросила:

– Ну как он тебе, понравился?

– Нормально, – серьезно ответил сын.

– Ну вот и славно, – вздохнула она. И добавила: – А я в этом и не сомневалась.

Она счастливо рассмеялась, чмокнула его в щеку и привычно подоткнула одеяло.

Где-то через полгода отчим переехал к ним и сразу затеял ремонт – новые обои, новая плитка, а еще привез новую стиральную машину и огромный цветной немецкий телевизор «Грюндиг». Мальчишки приходили смотреть на эту чудо-технику и, конечно, завидовали. А мать помолодела и стала еще красивее. С утра, взбивая омлет или тесто для блинчиков, она теперь пела. Не ходила – летала, и на лице ее была постоянно загадочная полуулыбка.

С отцом он виделся крайне редко – тот уехал строить какой-то дворец спорта на Урале. Говорили, что проект грандиозный и для него, архитектора, это огромная ступень в дальнейшей карьере.

Новый мамин муж мальчику очень нравился – ну, во-первых, у мамы теперь постоянно было хорошее настроение и она много смеялась. Во-вторых, она часто пекла пироги с капустой и мясом, которые он так любил, в-третьих, отчим приносил домой всякие вкусности и сюрпризы – то торт-мороженое, то длинную, шершавую, пахнущую летом дыню под Новый год. Это не считая машинок, тракторов и подъемных кранов. Когда он вечером заходил домой, они с матерью обязательно ждали сюрприза, и, открывая сумку, мать, счастливая, всплескивала руками и с гордостью называла его добытчиком. Но не это, конечно, главное. Хотя приятно, что и говорить. Кто же не любит подарки? А главное то, что в доме радостно, тепло и все довольны. И еще теперь по выходным они обязательно куда-нибудь выбирались – или в гости, или в кино, или в театр, или в музей, или в цирк. Но больше всего он любил недалекие путешествия на машине. Например, в Абрамцево, где на стенах небольшого, уютного старого дома висят картины, есть смешная избушка на курьих ножках, резная скамья, и все это, загадочное и притягательное, стоит в таинственном и темном вековом лесу. Еще он обожал поездки в Архангельское – там было уже все другое – никакой камерности Абрамцева или Муранова, только широта, блеск, роскошь, помпезность. Дивная мебель, роскошные интерьеры, на улицах античные скульптуры, которые на зиму укрывали мешковиной, аккуратные дорожки, гроты, прекрасный парк и чудная, крохотная, семейная церквушка с погостом на высоком, крутом берегу реки. А после этих фантастических впечатлений и фантазий, в которых он представлял себя то графом, то рыцарем, то гусаром, они обязательно ехали в ресторан обедать.

– У матери должен быть отгул от кухни, – объяснял отчим.

В ресторане он долго читал меню, было сложно выбрать, хотелось всего и сразу. А потом, конечно, мороженое с фруктами, сливками, вареньем. И обязательно лимонад. Отчим с матерью долго пили кофе, а он уже скучал и, видя краем глаза, как отчим гладит мамину руку своей широкой сильной ладонью, смущенно отводил взгляд.

Скучал ли он по отцу? Да, наверное, особенно когда получал его короткие и редкие письма с фотографиями тех мест, где тот работал. Мать интересовалась:

– Ну что он там пишет, что интересного? Дашь почитать?

Он пожимал плечами и равнодушно протягивал матери конверт:

– Читай на здоровье, что мне, жалко?

Никаких секретов. Отчима он назвал папой примерно через год совместного проживания. Получилось случайно, просто в разговоре обратился: «Пап, слушай!» – и увидел, как замерли оба: и отчим, и мать. Отчим покраснел, смущенно кашлянул и через минуту ответил на его вопрос. В общем, можно сказать, все произошло само собой, как-то естественно и обы-

денно. Родной отец появлялся редко, примерно раз в восемь-девять месяцев. Да, конечно, они обязательно встречались, гуляли, сидели в кафе. Отец рассказывал о своей жизни, работе. Но это как-то все было неблизко, и он слушал его вежливо, но вполуха и рассеянно кивал. Когда ему исполнилось лет пятнадцать, отец спросил:

– Ну, как там у тебя на личном? Есть девушка?

Он смутился и отрицательно мотнул головой. Отец хохотнул и сказал:

– А у меня в твоём возрасте был уже целый хоровод!

Сын пожал плечами.

\* \* \*

Конечно, уже через год появились и девушки. Начались какие-то истории, романчики, разговоры по телефону до полуночи. В общем, обычная история. А в девятнадцать, учась на втором курсе, в какой-то шумной и случайной малознакомой компании он встретил Машу. Заметил ее сразу, несмотря на приглушенный свет, обилие народа и густой, висящий слоями табачный дым. Она была тоненькая, очень тоненькая, с детской, неразвитой грудью и почти плоской маленькой попкой – девочка-подросток. Вообще-то, не его сексотип, как говорили тогда. Но вот лицо у нее было замечательное, завораживающее, притягивающее, нездешнее какое-то лицо. Острый подбородок, четко обозначенные скулы, чуть вздернутый тонкий нос и огромные, черные, без зрачков, глаза. При этом белая кожа, нежная, почти прозрачная, так, что была видна голубая жилка на виске. Несколько мелких конопушек на носу и легкие, рыжеватые завитки волос, которые явно раздражали сейчас их обладательницу, активно участвующую в каком-то жарком споре, и она тонкими пальцами нервно закладывала непослушные пряди за маленькие прозрачные уши.

– Кто это? – спросил он у пробежавшего приятеля, кивнув в сторону Рыжей – так сразу он ее окрестил, как оказалось потом, на всю жизнь.

– Маша Томашевская, из театрального, по-моему. Янкина подружка. В общем, все справки – у Янки, – доложил приятель и спешно удалился.

Ага, как же, у Янки! Главной сплетницы, сводницы и интриганки. Через десять минут, как только он отойдет от Янки, Рыжая прознает про его интерес. Дудки! Он решил справиться без посторонней помощи. У него получилось. Спустя пару часов он провожал ее до дома. Жила она в центре, на Лесной, в старом кирпичном доме с тихим, зеленым двором.

Влюбился он в нее сразу, почти молниеносно, за короткий путь в полчаса от метро до ее темного и мрачного подъезда. Будучи человеком достаточно, как ему казалось, опытным, здесь он растерялся и робел спросить ее телефон, поцеловать или обнять. Просто робел. Она сама предложила ему подняться и выпить чаю. Он удивился – на часах было полпервого.

– А родители? – растерянно спросил он.

– Тирана-отца нет в наличии, – рассмеялась Маша. – А с маман у нас свобода нравов. Никакого контроля и полное взаимопонимание.

Хорошие дела, подумал он. Вот так, запросто, среди ночи. Он рассеянн топтался на месте.

– Да идем, не робей, – засмеялась Маша. – Да и маман, наверное, отсутствует, в смысле, ночует у своего любовника. Так что не пугайся. Я к тебе приставать не буду! – И она опять рассмеялась хриплым, ведьминским смехом.

Пешком они поднялись на второй этаж. Света на лестнице не было, и она, чертыхаясь, долго не могла попасть ключом в замочную скважину. Наконец они вошли, и Маша нажала на выключатель. Прихожая осветилась тусклым светом старого, в кованых лапах фонаря. В прихожей на полу валялась куча обуви, на подставке старинного, мутноватого зеркала в темной, резной, деревянной раме, изъеденной жуками, лежали стопкой старые журналы. Тут же, на

зеркальном подстоле, стояли флакончики с духами, и в узкой медной вазочке одиноко засыхала крупная, бордовая роза. Они переступили через ворох обуви и зашли в комнату. Там было не лучше: платья, блузки – на спинках стульев, огромный, древний книжный шкаф до потолка, тяжелая люстра из прежних времен – бронза, бронза и разномастные плафоны: и старые, родные, и просто лампочки – видимо, там, где плафоны уже были разбиты. На стенах – картины и фотографии. Большой круглый стол под малиновой, с кистями, вытертой скатертью, а на столе... Господи, чего там только не было на этом столе! И чашки с ободками чая и кофе, и обертки от конфет, и расчески, и бусы, и кремы, и даже, прости господи, колготки.

«Да! – подумал он. – Богема! Видела бы это мама!»

А Маша уже кричала ему с кухни:

– Иди, чай готов!

Кухня была крошечная, тоже захламленная, но на удивление уютная – самодельная деревянная мебель, расписанная вручную – какие-то жар-птицы, диковинные бабочки и цветы, маленький стол под огромным малиновым шелковым абажуром с кистями. И на стенах – тарелочки, доски, сухоцветы. «Симпатично, конечно, оригинально, но убрать бы не мешало», – заключил он про себя.

А рыжая Маша, позвякивая браслетами, наливала в маленькие чашечки крепкий чай, бесконечно курила длинные сигареты в мундштуке и рассказывала ему про свою жизнь. Про то, что мать с отцом родили ее в восемнадцать лет – будучи совсем детьми. Про художника-отца, человека талантливого, но пьющего. Про балерину-мать – слабую, безалаберную, но славную.

– Она у меня совсем дитя, ну, в смысле, что к жизни не приспособлена. В магазине вечно купит что-то не то, деньги тратит нелепо и считает, что в жизни самое главное – любовь, – рассмеялась Маша.

– А ты? – тихо спросил он.

– Что – я? – не поняла она.

– Ну, что ты считаешь в жизни самым важным?

– А, – беспечно отмахнулась она. – Я вообще пока над этим не задумывалась. Родители развелись – а как могло быть иначе? Отец устал от материнских экзерсисов и полной жизненной непригодности, прожил с ней пару лет и сбежал, женился на простой русской тетке, она его пестует, считает гением и печет пироги. Он вроде жизнью вполне доволен, но пишет всякую херню, – вздохнула Маша. – Впрочем, это все неплохо продается. А маман порхает по жизни, в каждом любовнике ищет прекрасного принца и, как водится, не находит. Убивается и, набравшись сил, продолжает поиски.

Ему было страшно и как-то неловко слышать эти речи. Ему, мальчику из правильной и стабильной семьи, живущей по укладу, традициям, определенному и, как казалось, единственно верному семейному устройству, было все это незнакомо и непонятно, но получалось, что люди живут по-разному, в том числе и так.

– Алименты отец не платил, да и какие с художника алименты? – продолжала Маша. – Мать получала копейки, гроши, жили бы совсем тяжело, если бы не дед со стороны матери. Подкидывал нам изредка денег. Он жил бирюком на старой даче в Краснове, но был скажочно богат. Из цеховиков, понимаешь?

Он понимал все это смутно, но Маша говорила, что дед государству не доверяет и все свое добро, нажитое нечестным трудом, хранит в погребке на даче. Ни мать, ни сама Маша этого добра в глаза не видывали, но надеются после смерти этого Гобсека разжиться в полную силу.

Он поморщился – такие разговоры были ему явно не по душе, но он убеждал себя, что она шутит, конечно же шутит. А как иначе? Ведь она же при этом смеется. И еще он думал о том, как сильно, невозможно сильно ему нравится эта молодая рыжая женщина. Как его непреодолимо тянет к ней и как сильно и ярко все то, что происходит с ним, – такого не было еще

никогда в его молодой жизни. Он поднялся и поблагодарил за чай. Хороший, интеллигентный, воспитанный мальчик из приличной семьи. Они вышли в коридор, и он все никак не решался уйти и глупо топтался на месте, мучительно подбирая слова для прощания.

Маша подошла к нему и обвила его шею своей тонкой и, как оказалось, сильной рукой.

– Останься, – шепнула она ему в ухо.

Что говорить, *так* у него не было больше никогда и ни с кем во всей его последующей жизни. Никогда. Так волнительно, остро, сладко и горько, как с ней, – всегда, каждый раз, сколько бы они ни были вместе. И еще пронзительная и жгучая боль – никогда, никогда эта женщина не будет до конца *его*.

Она все-таки ускользала от него – даже в самые сокровенные моменты, когда измученная, липкая от пота, опустошенная до доньшка, засыпала в его крепких и молодых объятиях. Тогда он еще не знал, что так будет всегда и что именно это станет его мучить, угнетать, раздавливать, бесить и доводить до полного душевного изнеможения.

Когда рассвело, она заснула, а он так и не мог спать, потрясенный и раздавленный всем произошедшим, находясь в полном смятении и какой-то непонятной, необъяснимой тревоге. Осторожно выпростав руку из-под ее спины, он вышел на кухню. Смертельно хотелось курить. Он стоял, голый, у окна и смотрел на тихий, зеленый московский двор, в котором еще не проснулась жизнь. И не было человека счастливее и несчастнее его. Почему? Этого он не мог себе объяснить никогда. Всю его неровную, рваную жизнь с ней он не мог объяснить даже себе это странное чувство огромного счастья, распирающего болью грудь, и пугающего, тревожного страха. А вдруг? Что – «вдруг»? Да вполне понятные мужские фобии: «А вдруг это у нее не только со мной *так*, а вдруг у нее было *так* до меня и будет с кем-то лучше, чем со мной, после?»

Вдруг, вдруг... Потом он убедил себя, что этот страх потери, почти физический ужас, и есть любовь. Но позже, с годами, он все-таки признавался себе, что дело тут было не в любви, вернее, не в ней одной. Дело тут было именно в ней, в Маше. Именно она ни на секунду, ни разу не дала ему понять: мы вместе, мы одно целое. Она всегда была сама по себе, и никто не смел посягать на ее внутреннюю свободу и самоопределение. Абсолютная единица и личность, она не пыталась никогда настоять на своем, но делала все сама, обходясь без советов, презирая чужой жизненный опыт, не собираясь считаться с чьим-либо мнением, игнорируя чужие взгляды и мировоззрение. У нее были ни от чего и ни от кого не зависящий, безусловный взгляд на все происходящее и полная, ненавязчивая уверенность в своей правоте. Таких внутренне свободных людей он не встречал никогда – ни до, ни после нее.

Он стоял и курил, погруженный в свои мысли, как вдруг услышал щелчок замка, дернулся, заметался и лихорадочно схватил какое-то полотенце, попытавшись прикрыть им свои чресла. На пороге кухни возникла маленькая и очень худая рыжеволосая женщина с густыми, темными веснушками на лице.

– Привет! – без всякого удивления и замешательства бросила она.

Он, обалдевший, кивнул. Она подошла к плите и стала жадно пить воду из чайника. Напившись, протянула ему узкую, сухую кисть и представилась:

– Марина.

Он кивнул и сипло произнес свое имя.

– Я спать, – объявила она и пошла в свою комнату.

Ничего себе нравы! Он начал постепенно приходить в себя. И опять что-то противно царапнуло по сердцу. Значит, ситуация вполне рядовая – голый мужик на кухне. Он сел на стул и закрыл глаза, а потом как подбросило – Господи, ведь он не позвонил своим! Такое с ним случилось впервые – чтобы он не предупредил! Бог мой, пока он тут захлебывается в страстях, они там сходят с ума! Он увидел старый, заклеенный скотчем, раздолбанный телефон и набрал свой домашний номер. Трубку сорвали с первого звонка.

– Пап! Прости, прости, ради бога! – бормотал он.

– Живой?! – хрипло спросил отец.

А он все бормотал извинения. «Сволочь я! – подумал он. – У меня тут море счастья разлитое, а у них там «Скорая» у подъезда наверняка». Он тихо прошел в ее комнату – она безмятежно спала, и нога ее по-детски свисала с кровати. Он торопливо оделся и еще раз внимательно и долго посмотрел на нее. Почему-то ему захотелось, чтобы она проснулась и открыла глаза. Но сон ее был крепок – она дышала спокойно и ровно. Он вышел в коридор и осторожно открыл входную дверь.

На улице уже пели птицы, и даже шли по тротуару какие-то ранние люди. Город чуть остыл за ночь и еще не успел набрать густого июльского жара. Он посмотрел на часы – метро уже открылось. Он глубоко вздохнул и зашагал к ближайшей станции. Дверь открыла мать, внимательно посмотрела на него и, убедившись в том, что он жив-здоров, вздохнула и спокойно сказала:

– Иди спать, – и добавила вслед беззлобно и бессильно: – Ну и гад же ты!

Он, соглашаясь, кивнул, зашел на кухню, открыл холодильник и с жадностью сжевал подряд две большие котлеты. Мать сидела на стуле и смотрела на него.

– Прости меня, – попросил он и признался: – А я, кажется, влюбился.

Мать помолчала пару секунд и проговорила:

– Я вижу.

Он подошел к ней, чмокнул ее в щеку, погладил по руке и еще раз попросил:

– Ну пожалуйста, прости.

– Иди уже спать, с тобой все ясно.

– А что, мам, так видно? – попробовал побалагурить он.

– Видно, – отозвалась мать. – Ты похож на идиота.

Он счастливо заржал и пошел к себе. Еле хватило сил, чтобы стянуть джинсы и майку. Он рухнул на кровать и тотчас, моментально провалился, как в яму, в сон.

А в семь часов вечера он стоял под дверью на Лесной, не решаясь нажать на звонок. Когда он наконец позвонил, дверь ему открыла Марина.

– Привет, – ничуть не удивившись, рассеянно произнесла она. – А Маруси нет дома, проходи, обожди.

Она посторонилась в узком коридоре, и он, растерявшись, прошел в квартиру.

– Хочешь чаю? – спросила Марина – он потом так и звал ее, без отчества всю жизнь. Он смущенно кивнул. Она поставила чайник и сказала ему:

– Я уйду через полчаса, а ты ее жди.

Он опешил:

– А это удобно?

– В каком смысле? – не поняла она.

Он пожал плечами. Пока он пил на кухне чай, Марина собиралась в комнату, что-то напевая. «Странные все-таки», – подумал он. Марина заглянула на кухню и бросила ему:

– Пока! Если не дождешься, просто захлопни дверь – там «собачка».

– Счастливо! – успел выкрикнуть он ей вслед.

Допив чай, зашел в комнату. На стене висели фотографии – юная Марина на даче на скамейке под кустом жасмина, Марина в гриме и балетной пачке, Марина на море по грудь в воде. Одним словом, одна сплошная Марина, большая, судя по всему, любительница своих изображений. А в книжном шкафу под стеклом стояла черно-белая фотография маленькой девочки с кудряшками, с не по-детски взрослым, осмысленным взглядом. «Кто это? – не понял он. – Маша или ее Марина?» Мать и дочь были удивительно похожи друг на друга. Он вытащил из книжного шкафа томик Чехова, сел в кресло и не заметил, как уснул. Проснулся он от того, что кто-то ерошил его волосы.



– Эй! – смеялась Маша. – Ну ты и здоров дрыхнуть! Я уже полчаса по квартире, как слон, топаю.

Он вскочил и начал суетливо ей объяснять свое присутствие в ее доме.

– Все нормально, – отмахнулась она. – Только есть хочу, умираю.

Потом они жарили яичницу с помидорами, пили кофе, а потом... А потом все было снова – с той же силой и нежностью и какими-то глупыми и очень важными словами, которые срывались с его губ, а она тихо смеялась и прижимала свой тонкий палец к его губам и шептала:

– Не надо, не надо, все и так понятно. Слова ничего не стоят, поверь.

И он удивился этому ее знанию и, смутившись, замолчал. Под утро он все же уснул, Маша его разбудила и потребовала воздуха, леса и реки. Они быстро собрались, нарезали бутерброды, налили в термос чаю и пошли на Белорусский вокзал. Она сказала, что знает дивное место на берегу Москвы-реки, тихое и чистое. Они приехали туда, долго шли от станции по пыльной, узкой дороге, нещадно слепило июльское солнце. Они зашли в подлесок перевести дух и задержались там на долгих два часа, потому что опять неистово и нежно любили друг друга, и было уже наплевать на жару, речку и все дальнейшие планы. Но до речки они все же дошли, и место оказалось и вправду тихое и безлюдное, даже почти незагаженное. Маша сорвала с себя легкий сарафан и, голая, бросилась в воду. Они поплыли наперегонки, но у узкой речушки оказалось сильное и холодное течение, и они, обессиленные, вышли на берег, выпили чаю и заснули, обнявшись, на зеленой траве, крепко-крепко. Это было самое счастливое лето в его жизни. Они не расставались ни на день. В августе родители засобирались к родне в Одессу – мать долго уговаривала его поехать с ними, но отец сказал ей твердо: «Оставь его, видишь, его здесь нет. Он на другой планете».

Однажды она приехала к нему – зашла в квартиру и удивилась:

– Боже, какая у вас чистота! Все по местам, с ума сойти!

Он открыл холодильник и поставил греть на плиту жаркое – мать оставила ему еды недели на две.

Она ела и качала головой от восторга.

– Боже, как вкусно! И мясо, и малосольные огурчики! У тебя маман – гигант, – заключила она. И добавила с грустью: – А мы живем одним днем, безалаберно как-то живем. Знаешь, я суп ем только в столовке в альма-матер.

– Ну, у всех по-разному, – дипломатично ответил он.

А она задумчиво протянула:

– В общем, жена из меня будет никакая. Нет школы! – И, испугавшись самой себя, со смущенным смешком добавила: – Зато я честно обо всем тебя предупредила. Теперь с меня взятки гладки!

Это правда, с нее всегда были взятки гладки. Как с гуся вода. Весь август пролетел в бешеной круговерти – днями они шатались по Москве, где уже определились *их* места – скамейка на Патриарших, кафешка на Бронной, сквер у Никитских, переулочки Замоскворечья, киношка в «Ударнике». Вечерами ехали к кому-то на квартиру: в августе у многих были свободные хаты – родители разъезжались в отпуска. А ночи, ночи были точно только их. На Лесной в августе почти не появлялись – пропадали у него на Вернадского. Сначала Маша возмущалась:

– Живешь на высылках!

А потом привыкла и оценила – да, воздух, лес под окном. Нет, неплохо, тихо. Действительно – спальный район. Правда, им было не до сна.

К сентябрю приехали родители. Мать критически осмотрела его – похудел, побледнел. Как-то протянула ему Машину закладку, посоветовала:

– Отдай владелице.

А он ходил с дурацкой улыбкой на лице и распевал:

– «А я кружу напропалую с самой ветреной из женщин».

И еще про то, как ругает мама, «что меня ночами нету».

Мать не ругала, нет, а только посмеивалась и качала головой. И еще грозно напоминала – скоро институт! Четвертый курс, между прочим!

В сентябре разбежались по институтам. Полдня прожить без Маши было невыносимо. После лекций мчался к ней, сидел в сквере напротив, вглядываясь в прохожих – только бы не пропустить.

Однажды в октябре мать сказала:

– Что же ты скрываешь от нас свою девушку? Приводи!

Он передал Маше, что в субботу родители ждут на ужин. Она удивилась и задала абсолютно нелепый вопрос:

– А для чего?

– В каком смысле, для чего? – разозлился он. – Просто познакомиться.

– А зачем? – вновь удивленно поинтересовалась она.

Нет, все-таки что-то ей абсолютно непонятно. Даже не знаешь, как человеку в девятнадцать лет можно объяснять такие вещи. А она канючила:

– А может, рассосется? Ну, не люблю я все это – здасьте, здасьте, шаркнуть ножкой, нож – вилка. А чем вы занимаетесь? А какие планы на будущее?

Но здесь он был тверд: во-первых, родители – нормальные люди, а во-вторых, как он им объяснит, что она не хочет приходить к ним в дом в их присутствии? Бред какой-то! Маша, вздыхая, согласилась. Он встретил ее у метро и купил маме букет садовых ромашек. Конечно, та накрыла стол – скатерть, пирог, курица, салат, бутылка вина. Маша не робела, просто недоумевала – к чему такой парад? Посидели, пообщались на общие темы. Без напряжения. А потом пошли в его комнату, и она спросила:

– Я останусь?

Он помолчал и попытался ей объяснить, что это не очень здорово и их не поймут.

– Почему? – удивилась она. – Они же догадываются, что мы не просто за ручку ходим. Мы же взрослые люди? В конце концов это называется ханжество.

– Да нет, – оправдывался он. – Просто у нас так не принято, понимаешь, ну не готовы они пока к этому.

Она тогда впервые всерьез обиделась. Он спустился и поймал такси.

Назавтра мать ему сказала на кухне как бы так, между прочим:

– Ты же знаешь конечно же, я за любовь. Но она не жена, понимаешь? И ты не обольщайся. Люби себе на здоровье, но не заморачивайся.

Он разозлился:

– И это говоришь ты? Ты, которая провозглашает лозунг – только любовь имеет значение?

– Это так, – медленно ответила мать. – Но, видишь ли, кроме любви, есть еще много составляющих семейной жизни. Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Нет! – резко ответил он. И добавил: – От тебя я такого не ожидал.

Начались занятия в институте, и видятся они стали реже. Нет, он конечно же по-прежнему рвался, бежал к Маше при любой возможности – встречал в садике у Щуки, провожал, караулил у дома. Она, при всей своей легкомысленности, была довольно серьезно погружена в учебный процесс – говорила о педагогах, предметах, любимых и нелюбимых, примеряла на себя возможные роли. Он к учебе относился спокойно, по-студенчески, занимался от сессии до сессии. Этот процесс его не увлекал, просто он четко понимал, что надо получить «верхнее» образование. Мать с отцом сначала опасались – не будет ли он манкировать занятиями, но потом успокоились и вздохнули: сессии сдает – и ладно.

Новый год они встречали вдвоем у Маши. Мать, Марина-балерина, как он ее окрестил, встречала праздник где-то за городом. Тридцать первого днем он притащил маленькую пушистую елочку. Маша растерялась – украшать елку было нечем, игрушек в доме не водилось.

«Странно, – думал он, вешая на елку мандарины, конфеты, плюшевые игрушки и еще какую-то ерунду, – люди живут совсем без традиций. А мама всегда говорила, что традиции – основа семьи». Праздничный стол конечно же Маша не приготовила, но выручили мамыны утка и пироги с капустой. Торт купили в соседней булочной. Зажгли свечи и сели за стол. Маша произнесла тост, состоящий из двух слов:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.